

Эмили Ван Баскирк

ЛИДИЯ ГИНЗБУРГ И ПОСТИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК: ТЕОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ БЛОКАДЫ

На протяжении примерно 60 из 70 лет своей писательской и исследовательской деятельности Л.Я. Гинзбург писала в стол. Несмотря на то, что с ее точки зрения в основе литературы лежит глубоко общественный (и, следовательно, этический) акт¹, всё, что в это время выходило из-под ее пера становилось достоянием лишь очень узкого круга читателей. Особенно в катастрофические как с человеческой, так и с профессиональной точки зрения 1930–1940-е гг., Гинзбург постоянно возвращается в своих записях к болезненным темам изоляции, неудачи, «социальной неприменимости» (по ее собственному выражению) и, разумеется, смерти².

Тем не менее социальная и экзистенциальная изоляция стимулировала ее обратиться к «исторически закономерным»³ аспектам человеческого опыта и личности. Такого осознанного историзма не было в русской литературе со времен А.И. Герцена, чьим историографическим мемуарам, необычайно высоко ценным Гинзбург, она посвятила значительную часть своих исследований⁴.

¹ Привожу ключевой тезис Гинзбург о том, почему творчество — акт этический: «Человек уходит в себя, чтобы выйти из себя (а выход из себя — сердцевина этического акта). Человек в себе самом ищет то, что выше себя. Он находит тогда несомненные факты внутреннего опыта — любовь, сострадание, творчество — в своей имманентности, однако не утоляющие жажду последних социальных обоснований» (см.: *Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе.* СПб., 2002. С. 253, а также мою статью: «Само-отстранение» как этический и эстетический принцип в прозе Л.Я. Гинзбург // *Новое литературное обозрение.* 2006. № 81. С. 261–281).

² Особенно это относится к записям 1930-х. Похоже, в послевоенные годы сталинского режима Гинзбург на время отложила перо — по крайней мере я не обнаружила в архиве сколько-нибудь значительных записей периода 1946–1953 гг. Архив Гинзбург полностью передан сейчас в Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Фонд находится в обработке, поэтому я ссылаюсь на находящиеся в нем материалы, используя лишь общий номер фонда Гинзбург — 1377.

³ *Гинзбург Л. Записные книжки.* С. 60.

⁴ Гинзбург начала заниматься Герценом во время блокады, опубликовав в 1944 г. статью «Герцен — создатель „Былого и дум“» // *Звезда.* 1944. № 2. С. 129–135. В 1940–1950-х гг. она работала над докторской диссертацией и входила в состав редколлегии собрания сочинений А.И. Герцена (как 30-томного, так и 9-томного изданий). Ее диссертация вышла в конце концов отдельной книгой — см.: *Гинзбург З. «Былое и думы» Герцена.* Л., 1957.

Гинзбург пыталась открыть новые, современные аспекты личности и найти им концептуальное объяснение. Ее прежде всего интересовали характер человека, его поведение и ценности: «Литература имеет дело со свойствами, характеристиками, поступками — со всевозможными формами обобщенного поведения человека. А там, где речь идет о поведении, любые жизненные ценности оказываются в то же время ценностями этическими»¹.

Гинзбург была убеждена, что великие писатели, такие как Руссо, Толстой и Пруст, открывают новые аспекты личности и создают новые концепции человеческого «я»². Как человек двадцатых годов, как младоформалист и мыслитель гегельянского склада, Гинзбург тяготела к новаторским идеям; ее интересовала эволюция художественных направлений и стилей. Она сетовала на то, что после Чехова и символистов литература перестала развиваться, поскольку не могла создать новые концепции личности. Так, во время Второй мировой войны Гинзбург писала:

Отсутствие большого стиля характерно для всей эпохи, повсеместно. Это вообще падение гуманитарной культуры. Мы — это только наиболее проявленный случай, неприкровенный. Там же, при свободе выражения — отсутствие новой принципиальной концепции человека. Там тоже нет ничего, кроме инерции высокой литературной культуры, которая здесь была насильственно прервана³.

Неспособность создать «новую концепцию человека» связана с «падением гуманитарной культуры», чему сопутствовали ценностный кризис и утрата веры в индивидуализм или идею общественного прогресса, которую Гинзбург называла «социалистическим гуманизмом».

В Советском Союзе Вторая мировая война с ее неисчислимыми потерями и разрушениями способствовала временному подъему национального единства; появилась и надежда на то, что в исторической перспективе страдания и жертвы приобретут смысл. Годы ленинградской блокады — поворотный момент в твор-

Кроме того, она включила главу о Герцене в кн.: *Гинзбург З.* О психологической прозе. Л., 1971, 1977.

¹ *Гинзбург Л.* О психологической прозе. Изд. 2-е. Л., 1977. С. 385.

² В книге «О психологической прозе», а также в записных книжках Гинзбург приравнивает великих писателей к ученым-изобретателям, часто используя слова «открытие» и «открыл». Так, о Руссо она пишет, что он «открыл» — скорее литературными, а не естественнонаучными методами — «абсолютное единство личности», «диалектику душевной жизни, текучесть психических элементов, соотношение сознательного и бессознательного» «протекание душевного процесса одновременно на разных уровнях» и «отношение между творчеством писателя и его личностью». См. там же. С. 197, 201, 237, 204. Толстой — еще один писатель, совершивший «переворот» в литературе. Одно из его «основополагающих открытий», например это открытие «нового отношения между текущим и устойчивым началом душевной жизни». См. там же. С. 271. Характерный признак историко-литературного подхода Гинзбург в том, что, по ее мнению, открытия мыслителей (от Белинского через Руссо к Толстому) образуют единую линию, продолжая и развивая друг друга.

³ *Гинзбург Л.* Записные книжки. С. 169.

ческом и интеллектуальном развитии Лидии Гинзбург. Она испытала все тяготы осады, которую пережила бок о бок с другими ленинградцами; в декабре 1942 г. умерла от истощения ее мать. Несмотря на это, в 1942–1946 гг. она писала так же много и плодотворно, как в первый период своей творческой активности, с 1926 по 1929 г. Ослабление идеологического контроля и террора сыграло свою роль, хотя Гинзбург и не предназначала свои произведения для немедленной публикации. Впервые после Февральской революции 1917 г. (когда ей было всего пятнадцать лет) и Института истории искусств Гинзбург испытывала радость от участия в общественной жизни (работа на ленинградском радио) и от ощущения, что у нее на глазах творится история, даже если при этом она была на волосок от смерти. Гинзбург стремилась исследовать «проходящие характеры»¹, в которых воплотятся, как она думала, глубокие исторические перемены. Напряженно и увлеченно работала она над новой концепцией человека, которая подходила бы к катастрофической эпохе.

Гинзбург с ее скептическим складом ума упорно не желала поддаваться чарам официальной советской идеологии², поэтому поражает ее относительно оптимистический взгляд на социально-исторические процессы в записях военных лет. Об этом недавно писал Андрей Зорин, по наблюдению которого в записях 1942–1943 гг. даже просматривается попытка найти «теоретическое оправдание советской истории», включая массовое уничтожение граждан собственным государством³.

В военных условиях, считала Гинзбург, призыв жертвовать собой, с которым государство обращалось к гражданам, нашел отклик в душе интеллигента, ищущего возможности «выхода из себя»: «Интеллигент теперь должен был сам захотеть того самого, чего от него хотело общее. Старая утопическая задача (как она увлекала Герцена!) — не разрешится ли она синтезом логики государства с логическим абсурдом самоценной личности?»⁴. Блокадные записи Гинзбург показывают, что она была всерьез увлечена этой идеей: она надеялась, что осознание несостоятельности индивидуализма породит новое гражданское сознание.

¹ Одну из частей «Слова», тетради военных лет, Гинзбург впоследствии озаглавила «Проходящие характеры». Возможно, она имела в виду частую смену характера в блокадных условиях, как и то, что знакомые, которых наблюдает и зарисовывает Гинзбург, не являются членами семьи или близкими друзьями. А.Л. Зорин и я остановились на этом заголовке для названия первого полного научного издания блокадных и военных произведений Гинзбург: *Гинзбург Л. Проходящие характеры* (Записки блокадного человека). Проза военных лет / Сост., комментарии и вступительная статья Андрея Зорина и Эмили Ван Баскирк. М.: Новиздат, 2011.

² Гинзбург говорит о «заороженности» в эссе «Поколение на повороте»: см.: *Гинзбург Л. Записные книжки*. С. 276–284.

³ *Зорин А.* Лидия Гинзбург: опыт примирения с действительностью // Новое литературное обозрение. 2010. № 101. С. 32–51, особ. 33. Я разделяю большинство положений Зорина, хотя и не вполне уверена в возможности точно датировать возникновение и исчезновение у Гинзбург основанных на гегельянской, «историософской концепции» попыток найти оправдание советскому государству и его политике.

⁴ *Гинзбург Л.* Записные книжки. С. 732.

Сама история если и не предлагала безусловный выход из изоляции 1930-х гг., то хотя бы наделяла объективным смыслом борьбу за выживание того, кого можно определить как эгоистическую монаду¹. В черновом варианте преамбулы 1962 г. к будущим «Запискам блокадного человека» Гинзбург писала: «Неприкрепленные к армии или к военизированной работе отваливались и проваливались в эгоизм полуживотных забот. Но история-то была в том, что эта субъективная бессмыслица, это чистое самосохранение в конечном счете были объективно нужны. И они тоже означали, что не распадается гигантский, многосоставный организм воюющей страны. Человек, до предела несвободный, но не регламентированный, не имеющий от забот и минутной передышки, но ужасающе праздный, не понадобившийся войне, бежал по кругу своего эгоизма — столь странным способом выполняя общее историческое дело. Так возникла необходимость описать один такой день (описать день, описать круг — получается каламбур), возник черновой материал, и двадцать лет оставался недооформленным»².

История возвращала ценность одному дню человека, погруженного в заботы самосохранения. Казалось бы, подобным смыслом можно наделить любой день, описанный в его обыденности и типичности. Действительно, в этом наброске Гинзбург упоминает рассказ Л.Н. Толстого «История вчерашнего дня» — важную попытку описать час за часом, во всей психологической полноте и сложности, один день из жизни аристократа, потраченный на игру в карты и неловкие ухаживания за чужой женой. Однако в опубликованной преамбуле к «Запискам блокадного человека», впервые появившейся в 1984 г., Гинзбург, стремясь доказать «объективную необходимость» для человека быть частью «организма страны», ссылается не на этот рассказ, а на «Войну и мир». Если Толстой показывает, как даже продиктованные эгоистическими соображениями действия помогали в общем деле войны России с Наполеоном, то Гинзбург стремится показать вклад ленинградцев в победу России над нацистской Германией³. Эгоистическая борьба за самоутверждение и самосохранение, как и подробное описание одного дня, искупаются их историческим смыслом и исторической необходимостью.

Гинзбург наблюдала разные социальные группы людей (на радио, в бомбоубежищах и т. д.) и сначала записывала их обычные разговоры. Каждый обрывок диалога, каждый проанализированный характер способствовали лучшему

¹ Примо Леви использует термин «монада», говоря об эгоизме и изоляции «рабов» в Освенциме, и это отчасти напоминает описание блокадного человека у Гинзбург. О жестокой изоляции см.: *Primo Levi, Survival in Auschwitz*, пер. Stuart Woolf. New York, 1996. P. 88. О метафоре «монады» и вражде между заключенными см.: *The Drowned and the Saved*, transl. Raymond Rosenthal. New York, 1989. P. 38. В черновике повествования «День Оттера» (первоначальный вариант будущих «Записок блокадного человека») Гинзбург сравнивает блокадника с амебой: «Амеба плывет по кругу, выпуская и поджимая щупальцы. Дистрофический человек бежит по морозцу от еды к еде» (ОР РНБ. Ф. 1377). («День Оттера» опубликован в «Проходящих характерах».)

² Рукопись не датирована, однако можно предположить, что она написана приблизительно в 1962 г., поскольку содержит намек на «Один день Ивана Денисовича» А.И. Солженицына, т. е. двадцать лет спустя после «Дня Оттера». Историю создания «Записок блокадного человека» см. в кн.: *Гинзбург Л. Проходящие характеры*.

³ *Гинзбург Л.* Записные книжки. С. 611.

пониманию скрытых исторических перемен или давали ей материал для такого понимания¹. Записывая речь современников, Гинзбург отмечала, что «блокадная ситуация» привела к значительному сходству в личном опыте страдающих людей, и на фоне этого сходства «вариации на тему» становились лишь заметнее. Подобно тому как скудость пищи приводила к кулинарной мании, бедность материала, из которого «уцелевшие дистрофики»² строили свои автоконцепции, пробуждала в них жажду к самоопределению и дифференциации, обнажая приемы самоутверждения. Гинзбург заметила, что важные аспекты поведения и речи порождались не структурой личности человека, а реакцией на ситуацию.

Определения постиндивидуализма в ситуации Ленинградской блокады

После того как был закрыт Институт истории искусств и разгромлен формализм (1930), в творчестве Гинзбург намечился переход от «остроумия» записных книжек в духе Вяземского и Шкловского к более систематическим и в то же время «беллетристическим» записям. В 1934 г. Гинзбург описывает свою деятельность как промежуточную между деятельностью историка и романиста: «Сейчас работа историка и работа „романиста“ (условное название для человека известным способом концепирующего действительность) до некоторого предела должна быть однородна. И то и другое — понимание жизни; то есть описание фактов и объяснение связей между ними. К тому же они объясняют одни и те же факты, только взятые в разных масштабах. Я не только не приму в „романической“ характеристологии метода непригодного для истории; но — что эксцентричнее — не приму в истории метода, который в бесконечном сокращении не сможет объяснить мне характера»³.

Последнее требование к истории быть способной объяснить, как формируется личность, свидетельствует как о глубокой вере Гинзбург в историческую обусловленность, так и о ее непреходящем интересе к характеру.

В надежде замостить пропасть между писанием истории и писанием романов Гинзбург тщательнейшим образом контекстуализирует свое понятие «я». В качестве первого подступа к пониманию личности, специфической для ее собственной эпохи, Гинзбург пытается предложить такое понимание для эпох

¹ Подтверждение того, что Гинзбург понимала ценность своих исследований, определяемую самой историей, находим в ее записной книжке 1936 г., в разделе, который частично переключается с эссе «Возвращение домой»: «Дойдя до состояния последней обнаженности, обратившись в аппарат, вырабатывающий умственную энергию, — стоит ли тратить умственную энергию на писание статей, которые могут писать и люди, сохранившие человечность. Энергии остается обратить на то, чтобы оставить документ [было: свидетельство] об этом именно историческом состоянии духа. Неизвестно, будет ли это малоинтересное свидетельство о неудавшемся человеке или важное свидетельство о великом времени, когда меняются люди и человек испытывается страшной пробой труда и пустоты и жестоким соблазном равнодушия» (см.: ОР РНБ. Ф. 1377).

² Гинзбург Л. Записные книжки. С. 658.

³ Запись Л. Гинзбург от 26 января 1934 г. // ОР РНБ. Ф. 1377. ЗК VIII-IX (1933–1935).

предшествующих. Как убежденная гегельянка, она верила, что новые формы самосознания непременно должны развиваться из старых, как следующая ступень в развитии идей и верований, определяемом движением времени. Историю развития индивидуалистического самосознания в России и в Европе Гинзбург собиралась включить в сочинение большого формата, которое должно было называться «Дом и мир». Термин «неиндивидуалистический» можно найти в одном из планов этого цикла повествований:

Изображение сознания субъективно-позитивного и притом неиндивидуалистического.

Оно изображается на фоне истории самосознания личности (от Руссо до наших дней) — от высокого индивидуализма до декадентской субъективности.

Кризис этого сознания и условия наибольшей выразительности этого кризиса (две заглавных буквы, неразборчиво. — Э.Б.).

<...>

Изображается организация пустоты вовне и внутри человека и борьба людей с пустотой и в пустоте за свою реализацию. В центре человек предельно пустой и талантливый, которого пустота поэтому не может убить. Он — самосознающая пустота и в осознании находящая смысл. Так определяется герой¹.

Неизбежное для постромантического этапа преодоление индивидуализма повергает это сознание в кризис. В другом месте того же плана она наделяет это сознание и другими негативными качествами: «изолированное; нерелигиозное, и нереволюционное, бессвязное, нетрагическое (смерть ему не противоречит), внеморальное, инфантильное, релятивистическое и т. д.»².

Термин «индивидуализм», используемый Гинзбург, восходит к идеологии «индивидуальности», достигшей наивысшего расцвета в немецком романтизме, где человеческая личность рассматривалась как не имеющая аналогов, отличная от других и даже не поддающаяся описанию. Уникальность предполагала необходимость самосовершенствования: личность может «обогащать человечество той единственной, особой разновидностью, каковую представляет она одна», поэтому преступно допустить, чтобы эта особь так никогда и «не получила выражения»³. В книге «О психологической прозе» Гинзбург подчеркивает, что романтики не подвергали сомнению необходимость этических концептов⁴. С ее точки зрения, абсолюты, точнее их разновидности, присутствуют еще в раннем

¹ Некоторые планы к «Дому и миру» были реализованы в каком-то смысле в записях 1940-х гг., которые позднее превратились в «Записки блокадного человека» (например, описание одного долгого дня из жизни литератора). Краткое описание «Дома и мира» см.: «Никто не плачет над тем, что его не касается»: Четвертый «Разговор о любви» Лидии Гинзбург / Подготовка текста, публикация и вступительная статья Э. Ван Баскирк, пер. Е. Канищевой // Новое литературное обозрение. 2007. № 88. С. 154–168.

² «Дом и мир» (рукопись) // ОР РНБ. Ф. 1377.

³ См.: Weintraub K. *Autobiography and Historical Consciousness* // *Critical Inquiry*. 1975. Vol. 1. N 4. Jun. P. 821–848. См. его же: *Value of the Individual: Self and Circumstance in Autobiography*. Chicago: University of Chicago Press, 1978.

⁴ Гинзбург Л. О психологической прозе. С. 389.

позитивизме, натурализме и западном утопическом социализме, хотя во второй половине XIX столетия внеположная ценность личности ставится под сомнение — всё большее влияние приобретают релятивизм, позитивизм и атеизм. А без представления об абсолютной ценности человеческой души, наделяющей жизнь смертного смыслом, индивидуализм — как идеология — теряет свою логику и силу.

Как утверждает Гинзбург, в ее время мысль о том, что смерть лишает смысла человеческую жизнь, давно превратилась в клише и породила не вдохновенные теоретические или художественные творения гения, а один «скучный эгоизм»¹. Заметим, что в отличие от Белинского или Чехова, Гинзбург жила в постреволюционную эпоху и не могла уповать на радикальную смену общественного устройства или торжество социалистических принципов.

В 1930-е гг. Гинзбург рассматривает человеческий характер и усваиваемые им социальные ценности в двух перспективах. Одна из них определялась вопросом о смысле ценностей для отдельного существования в постиндивидуалистическом мире и перед лицом смерти. Другой аспект ее рассуждений касался активизации² человека, степени его участия в качестве члена новой «гуманитарной» интеллигенции, включенного в существующий правопорядок. Гинзбург исследует путь «средней руки интеллигента»³, который определяется разностью личных качеств, биологических, биографических и даже классовых, а также историческими обстоятельствами, резко отличными в 1921—1925 гг. от тех, что были в 1928—1932 гг.

В 1934 г. она выделила шесть типов людей, исходя из их способа восприятия ценностей: эмпирический, чувственный, эмоциональный, активный, идеологический и интеллектуальный. В ее записи 1935 г. «Метод рассмотрения человека» теоретически закреплена многослойная структура личности, разделенной на уровни («этажи»), как правило, разнородные и противоречивые. В дополнение Гинзбург пишет, что к человеку следует подходить как к организму, подверженному изменениям: опознаваемые черты личности актуализируются (или, наоборот, утрачивают актуальность) в зависимости от исторического или биографического периода. Она предлагает создать схематическую модель изображения личности путем отбора элементов душевной жизни человека — тех, «которым свойственна повторяемость, взаимосвязанность и структурное значение». Затем следует поиск причинных связей между главными характеристиками и их проявлениями.

Гинзбург стремится достичь максимально полного объяснения свойств и поведения личности с помощью научного метода и поддающихся верификации приемов исследования. Неудивительно, что этот в высшей степени научный

¹ Она же. Л. Записные книжки. С. 199.

² Слово «активизация», используемое Гинзбург, имеет что-то общее с герценовским неологизмом «одействование»: «Мы знали вкус одействования...». См.: Гинзбург Л. Записные книжки. С. 89, 295 — для «активизации». Гинзбург говорит о герценовской концепции «одействования» в главе «Дилетантизм в науке» в кн.: Гинзбург Л. О психологической прозе. С. 80.

³ Гинзбург Л. Запись 1933 г. // ОР РНБ. Ф. 1377. ЗК VIII—2.

подход был разработан возвращенным формалистами литературоведом, привыкшим исследовать не живых людей, а литературных героев, обладающих законченными и до некоторой степени последовательными характерами. Гинзбург так и не опубликовала эссе о методе: то ли подход показался ей со временем механичным и излишне сциентистским, то ли в нем не были в достаточной мере учтены ситуативные факторы.

Человек как ситуация

Ощущая после начала Второй мировой войны тесную связь с историческим процессом, Гинзбург пыталась сформулировать новую концепцию человеческого характера, подходящую для постиндивидуалистической эпохи и учитывающую уроки войны. Она делает упор на изменчивость личности или по крайней мере создаваемого самим человеком собственного образа. Ценностный опыт оказывается для нее теперь не столь неизменной и определяющей категорией, как простой «жизненный напор». В черновых набросках к «Теоретическому разделу» блокадного повествования Гинзбург вырабатывает новую концепцию, где центр тяжести смещен с человека и его судьбы к ситуации:

Новому (пока еще преимущественно негативному) восприятию человека соответствует новый метод его рассмотрения. Психологический роман XIX века возник на великих иллюзиях индивидуализма. Сейчас рассмотрение человека как замкнутой самодовлеющей души имеет бесплодный, эпигонский характер. Современное понимание — не человек, а ситуация. Пересечение биологических и социальных координат, из которого рождается поведение данного человека, его функционирование. Человек как функция этого пересечения. Этот унылый аналитический метод не мыслится мне действительным на все времена, но лишь наиболее адекватным существующей в данный момент негативной концепции человека.

Гинзбург характеризует индивидуалистическое «я» как самодостаточное и замкнутое, направленное скорее внутрь себя, нежели в сторону «общей воли». По ее мнению, самоидентификация, нравственная ценность и избавление от пустоты эгоизма обретаются посредством связи и взаимосвязи с обществом. Индивидуалистическое «я» осталось так далеко в прошлом, что на смену личности как значимой аналитической категории пришла ситуация: «я» потеряло свою полноту и цельность; теперь оно максимально открыто социальным контекстам и внешним стимулам.

Во многих отношениях «новое», адекватное современности «восприятие» человека, о котором пишет Гинзбург, повторяет подход, используемый ею в предшествующие годы. И не с 1935 г. и позже, а еще в 1928 г., когда у нее появилась идея анализировать «всё психофизиологически и исторически закономерное» и представлять «фатум человека, как точку пересечения всеобщих тенденций»¹.

¹ Гинзбург Л. Записные книжки. С. 60.

Под «негативной» концепцией Гинзбург, скорее всего, подразумевала пассивную или по крайней мере определяемую внешними и случайными факторами, а не чем-то вроде унаследованных ценностей или врожденных качеств. «Привязанность» этой концепции к определенному времени, возможно, связана со специфичностью ситуации блокады, в которой оказалась Гинзбург, и надеждой на то, что жизнь вскоре изменится к лучшему.

Позднее Гинзбург слегка изменит свой подход: редактируя блокадные записи, она добавит абзац, в котором несколько иначе сформулирует концепцию «нового восприятия» человека, положив на одну чашу весов ситуацию, на другую — врожденные качества и структуру личности:

Не метафизическая субстанция, не сама себе равная душа XIX века, но непрерывная смена ситуаций, вызывающих реакции, рефлексы. Пусть так, но в ситуацию всякий раз попадает некая относительно устоявшаяся система биологических и социальных данных, вступивших между собой в единственное — одновременно и типовое — сцепление (единичный характер), а мы всё удивляемся — то неизменности человека (ничего не забыл и ничему не научился), то его изменчивости. Между тем оба начала взаимодействуют. Устоявшаяся система непрерывно приспосаблиется к переменным ситуациям и непрерывно стремится к своему исходному состоянию¹.

Из этого постулата, появившегося в черновиках 1960–1970-х гг., а также из опубликованных «Записок блокадного человека» следует, что у гибкости человеческой природы и подверженности изменениям даже в экстремальных условиях есть предел. В рукописях 1960–1970-х гг. Гинзбург обращается к параллельному примеру: в большинстве случаев, пишет она, те, кто вернулись из лагеря, ничуть не изменились — даже тщеславие и фривольность остались те же. (Она приводит анекдот: «Кто-то сказал про NN: раньше у него получалось, что он знал всех людей, читал все книги, смотрел все спектакли. Теперь оказывается, он решительно со всеми сидел...»².)

Внимание Гинзбург к ситуации возникает параллельно с ее новым интересом к механизму словесного взаимодействия как такового. Русские исследователи диалога, такие как Валентин Волошинов, определили внесловесный контекст как значимую категорию анализа речи. Волошинов дает пример ситуации (реакция на неожиданное похолодание в мае; двое стоят у окна и наблюдают, как идет снег)³, когда изречается лишь одно слово: «Так!», показывая, что его значение для двух собеседников можно объяснить, если обратить внимание на интонацию и зная «внесловесный контекст высказывания»: общий пространственный кругозор, общее знание и понимание положения и общую оценку этого положения. Он также пишет о том, как важны различные уровни: сиюминутная

¹ Там же. С. 622 (Записки блокадного человека. Ч. 1).

² Машинописный вариант 1960–1970-х гг. // ОР РНБ. Ф. 1377. (Опубликовано в кн.: *Гинзбург Л. Проходящие характеры.*)

³ См.: *Voloshinov V. Discourse in Life and Discourse in Art (Concerning Sociological Poetics) // Freudianism: A Critical Sketch / Trans. I.R. Titunik, ed. with Neal H. Bruss. Bloomington: Indiana U. Press, 1976. P. 99.*

ситуация (конкретный контекст, место и время диалога) и ситуация в более широком смысле (экономическая, общественно-политическая и т. д.)¹.

Несмотря на то что Гинзбург знала труды Волошинова, и в их подходах есть точки соприкосновения, путеводной звездой для нее оставался Лев Толстой, которого она перечитывала во время блокады. Именно его методы анализа и воспроизведения диалога Гинзбург позже подвергнет исследованию в книге «О психологической прозе». Многое в этой книге соотносится с ее размышлениями блокадной поры о механизме ведения беседы (самоутверждение, создание собственного образа) и о внимании к ситуации. Например: «Толстой сочетал предельную детерминированность разговора, то есть его реальную, эмпирическую связь с данной ситуацией, и несовпадение, не прямое отношение между ситуационным высказыванием и его скрытым личным мотивом. У Толстого двойная обусловленность — внешняя и внутренняя, породившая всю поэтику подводных тенденций диалога от Чехова до наших дней»². Подобно Толстому, только применительно к реальным субъектам, Гинзбург анализировала разговоры, учитывая при этом ситуации, в которых они происходили, и своекорыстные интересы и мотивы вовлеченных в них людей.

Самоанализ Гинзбург и ее записи о других свидетельствуют о том, что она осознала всю силу власти ситуации над людьми в военный период. В «Рассказе о жалости и жестокости», беспощадном психологическом исследовании, Оттер (от третьего лица) оценивает ситуацию и признает, что виноват в грубости и жестокости по отношению к тетке (ее прообраз — мать Гинзбург) в последние недели ее жизни³. Часть ответственности за свое поведение он возлагает на окружающую жизнь, на невыносимую блокадную «ситуацию», где отмерить и поделить кусок хлеба — всё равно что отдать последнюю каплю крови. Причиной своих оскорблений он считает то, что речь его заражена вульгарным уличным языком других блокадников, оказавшихся в тех же трагических обстоятельствах⁴.

Понятие ситуации играет важную роль и в запоздалом прозрении Оттера, когда он понимает, что совершил интеллектуальный промах, сочтя теткин ха-

¹ См.: *Voloshinov V. Marxism and the Philosophy of Language / Trans. Matejka L. and Titunik I.R. Cambridge, MA: Harvard U. Press, 1973. P. 83–98.*

² *Гинзбург Л. О психологической прозе. С. 354.*

³ «Рассказ о жалости и жестокости» // Гинзбург Л. Проходящие характеры. Разбор см.: *Van Buskirk E. Recovering the Past for the Future: Guilt, Memory, and Lidiia Ginzburg's Notes of a Blockade Person // Slavic Review. 69. N 2 (Summer 2010). P. 281–305. См. также: Ван Баскирк Э. Самоотстранение...*

⁴ Гинзбург пишет: «Это чувство как бы театральной отчужденности от собственной речи, как бы стилизации под что-то — подтверждалось тем, что он пользовался не своими словами, а готовыми стандартными формулами, заведомо пропитанными всей мерзостью обывательского цинизма». «Рассказ о жалости и жестокости» // ОР РНБ. Ф. 1377. Для параллелей с Толстым см. примеры, которые Гинзбург приводит в книге «О психологической прозе» (с. 354): «Пьер мучается потому, что он, человек сложной духовной жизни, воспользовался в решающую минуту омертвевшим в светской среде речевым шаблоном; воспользовался именно потому, что нельзя было перевести в слова то, что имело место в действительности...»

рактически достаточно стабильным, не подверженным испытаниям новыми блокадными условиями. Привычка представлять тетку определенным, неизменным образом не позволила ему понять ее страданий и распознать первые признаки ухудшающегося самочувствия. Упор на ситуацию несколько смягчает этический посыл, содержащийся в этом нарративе: Оттер должен выработать четкое представление о самом себе — тогда он сможет вести себя нравственно и ответственно.

Записи Гинзбург 1942–1944 гг. содержат анализ множества различных ситуаций, вплоть до самой масштабной «ленинградской ситуации». Анализируя конкретного человека или разговор, Гинзбург пытается учесть несколько ситуаций одновременно. Этот подход включает в себя гораздо больше уровней, чем было у Волошинова: добавляются исторический пласт, групповая идентичность, психология характера:

Для того чтобы вплотную проанализировать разговор, надо понять ряд наслаивающихся друг на друга, вмещающих друг друга ситуаций. Ситуацию всеобщую (данный разрез социально-исторических предпосылок), ситуацию групповую, ситуацию данного разговора. Всё это помимо характерологического анализа действующих лиц и т. п.¹

Идеей ситуативности пронизаны подслушанные и реконструированные Гинзбург разговоры: например, очередь за хлебом весной 1942 г., где женщины хвастаются друг перед другом своими кулинарными талантами или бескорыстием своих детей; бомбоубежище, где порой можно услышать патристические высказывания, язык которых почерпнут из официальной газетной пропаганды (из первой части «Записок блокадного человека»). Записанные на радио и в писательской столовой разговоры переходят от обсуждения профессиональных вопросов к малозначимым мелочам, от насущного, жизненно важного — к пустому (беккетовскому) заполнению пауз. В некоторых разговорах Гинзбург обнаруживает многослойность, неоднозначность мотиваций и смыслов: «В другом углу рабочей комнаты между двумя штатными редакторами тянется разговор — вялая смесь всех начал — женского, служебного, блокадного»².

Гинзбург показывает, что разговоры в известной мере зависят от сиюминутной ситуации и места, где они происходят (разговоры в бомбоубежище отличаются от тех, которые можно услышать в очереди за хлебом или в коммунальной квартире), от непосредственных задач, стоящих перед собеседниками (на работе в студии ленинградского радио), и от их общественной роли (военнослужащие, актрисы и т. д.).

Более широкая ситуация (помимо самой широкой — ситуации войны), занимающая Гинзбург, — переломный момент блокады, когда пища стала доступнее

¹ Опубликовано без этого абзаца и с другими изменениями под названием «Ленинградская ситуация» в книге «Претворение опыта». См. *Гинзбург Л.* Записные книжки. С. 184–186; В «Проходящих характерах» под названием «Групповое сознание ленинградцев» (ОР РНБ. Ф. 1377).

² *Гинзбург Л.* Записные книжки. С. 664.

(большинство нуждающихся к этому времени умерло), а те, кто выжил, уже представляли конец войны и возвращение жителей города из эвакуации. У них возникли общие заботы: что будет, когда люди вернутся с фронта и из эвакуации? Появятся ли после войны новые руководители от литературы, какие методы и подходы будут разрешены и одобрены? Она изображает людей, только что чудом избежавших смерти от голода или бомбежек, утративших свою прежнюю идентичность, супругов, работу, привычный внешний облик. Настало время придумывать себя заново: «Но теперь приходится снова самоопределяться при крайне трудных условиях, когда утрачены все заменители и фикции»¹.

Между тем Гинзбург ощущает, что создаваемые людьми автоконцепции отчасти вымышлены и нереальны, хотя необходимость обрести идентичность несомненна. Один из персонажей Гинзбург — Нина В-ц, натура эмоциональная и чувственная. Прежде основой ее самореализации была женская привлекательность. Неожиданно лишившись ее, она меняет психологические ориентиры: теперь основой создаваемого ею образа становится дистрофия. Нина понимает, что ее судьба — общая для всех, и это служит эгоистическим оправданием того, что она придает себе еще большую воображаемую ценность.

В блокадных записях Гинзбург деконструирует теории и образы, которые интеллектуалы надстраивают поверх даже таких «биологически несомненных фактов», как смерть². В тех условиях даже «психическое состояние» казалось атрибутом, добытым ценой больших усилий. Гинзбург меняет свое отношение к «психологии» (в кавычках в тексте). Теперь она считает, что «психологией» прикрываются некоторые интеллигенты, желающие возвысить себя в глазах других. Таков случай «А.О.» (Арсений Островский, литературовед, учившийся вместе с Л.Я. в Институте истории искусств; в 1931 г. возглавил «Библиотеку поэта», а во время блокады работал на ленинградском радио)³.

Это лишь один из многих примеров, которые приводит Гинзбург, чтобы показать классическое положение советского интеллектуала, вынужденного в целях выживания каждые десять лет менять мировоззрение. А.О. в 20-е гг. мнил себя декадентом, поэтом, воплощавшим «надрыв, опустошенность, легкий демонизм». В 30-е он работал в издательстве — месте, где *аппарат* всячески стремился воспрепятствовать наиболее культурной и осмысленной деятельности. Он сконструировал новый имидж — на сей раз циника и неудачника, «зарывшего свой талант» и утешавшего себя уютной мыслью, что «иначе не проживешь!» Между тем А.О. создавал собственную — частную — нишу, где был игроком, библиофилом, гурманом и поэтом. Третью по счету метаморфозу он претерпел во

¹ Гинзбург Л. Записная книжка «Слово» // ОР РНБ. Ф. 1377. Опубликовано: Гинзбург Л. Проходящие характеры.

² «Всё это возведение своих свойств в автоконцепцию, ценностные надстройки над биологически несомненным фактом — люди большого, жадного жизненного напора и сопротивляемости — часто вовсе не боятся смерти и наоборот» — там же.

³ См. краткую биографию Арсения Островского: Бахтин В. Ленинградские писатели-фронтовики 1941–1945. Л., 1985. С. 263–264. Островский в начале войны ушел на фронт ополченцем, но вскоре (в сентябре 1941 г.) его демобилизовали и направили работать в «Издательство писателей», большая часть сотрудников которого погибла при обстреле Гостиного двора.

время войны: эти годы он провел в блокадном Ленинграде, страдая от голода и мучительного страха смерти. В тот момент, к которому относится запись Гинзбург, А.О., соответственно своей новой автоконцепции, *делал вид*, что у него тонкая и сложная «психология»¹.

Гинзбург считает, что образ неудачника, позволяющий стать членом интеллигентской элиты, не совсем работает в случае А.О., поскольку социально неприемлем для 45-летнего главы семейства. Поэтому, чтобы скрыть деградацию, он культивирует свою репутацию эксцентрика — человека, который на последние гроши купит книгу, а не еду. Примечательная особенность Гинзбург (возможно, вызванная ее слабым, маргинальным положением, а также склонностью к анализу): каждую автоконцепцию она описывает как заранее продуманную, сознательную и намеренную. Еще одна особенность: Гинзбург недооценивает того, что ее личность или даже только присутствие при разговорах и «интервью» оказывали воздействие на окружающих, и в тех ситуациях, где она была собеседником, и в тех, которые наблюдала со стороны. В том, что она пишет, чаще всего не видно ее самой, ее образ и роль отсутствуют — соответственно нет и сознательного анализа этой роли.

«Созревание» нового сознания

Одним из аспектов ленинградской ситуации, на который Гинзбург обращала особое внимание, было появление первых проблесков нового гражданского сознания, позволявших надеяться на послевоенные изменения в обществе. Она скептически относится к людям, и в ее записях почти нет примеров бескорыстия, доброты, честности и взаимопомощи, вот почему ее положительные прогнозы поражают своей неожиданностью и выглядят наивно и неуместно. Как и многие другие писатели, она жаждала перемен в нравственной атмосфере общества и в судьбах литературы. У нее немало записей, свидетельствующих о невозможности улучшения норм поведения, общего культурного уровня и нравственной атмосферы. Прежде всего это ужасающая история Оттера из «Рассказа о жалости и жестокости»: по мере улучшения ситуации с пищей и при возобновлении попытки писать, ему становится всё труднее жертвовать собой ради тетки. То, что даже обладающий нравственным чутьем индивидуум не в силах вести себя в соответствии с моральными нормами (за исключением крайней ситуации 1941–1942 гг.), указывает на отсутствие моральных критериев и недостаток общей воли. Что касается более широких обобщений, Гинзбург в 1943 г. констатирует исчезновение порожденного блокадой равенства и возвращение к прежним иерархическим структурам. Она отмечает, что люди, которым пришлось стать равными с другими, не видят в лишениях возможности возвыситься нравственно, духовно и отчаянно стремятся занять более высокое положение в социальной иерархии:

¹ Гинзбург пишет: «Он сугубый интеллигент и сугубый истерик, и потому он и сейчас, несомненно, имеет свою надрывную автоконцепцию (неудачник, сломленный и т. д.), которая позволяет ему и сейчас числить себя среди избранных, наделенных внутренней жизнью, имеющих „психологию“» (Тетрадь «Слово» // ОР РНБ. Ф. 1377).

«Они торопливо, жадно хватаются за все знаки различия, за всё, что теперь должно их выделить, оградить»¹.

Обратимся сначала к элементам оптимизма. В эссе «Ленинградская ситуация» (в рукописи оно называлось «Групповое сознание ленинградцев») Гинзбург анализирует процесс забывания людьми эгоистических мотивов своих поступков и ретроспективного придания собственному поведению статуса героического. У горожан появился стимул действовать благородно — в соответствии со своими новыми или вновь обретенными ценностями.

Гинзбург пишет: «У человека образуется социальная, групповая автоконцепция (помимо личной), абстрактная, но верная. Идеальное представление о себе самом как члене коллектива. И это представление обязывает. От него, как бы в обратном порядке, развиваются подлинно сверхлические побуждения. Это навсегда заработанная ценность»². Механизм возникновения этой положительной тенденции действовал следующим образом: в 1943–1944 гг. блокадников убедили *извне* — путем наград и публикаций в прессе, — что они герои, что их ежедневная борьба сыграла роль в спасении нации. Они заново переоценили свой образ — групповой образ надежных и смелых граждан, которые продолжали жить и работать в осажденном городе, рыть окопы и исполнять свои обязанности, невзирая на опасности, которым ежечасно подвергались их жизни (этим положительные примеры исчерпываются). Гинзбург считает, что в этой автоконцепции есть правда, поскольку существовала норма поведения, не допускавшая трусости и эгоизма, хотя люди оставались людьми со всеми присущими им слабостями:

Эта норма, например, не мешает склочничать, жадничать и торговаться по поводу пайков. Но она мешала — еще так недавно — сказать: я не пойду по такому-то делу, потому что будет обстрел и я боюсь за свою жизнь. Такое заявление в лучшем случае было бы встречено очень неприятным молчанием. И почти никто не говорил этого, и — главное — почти никто этого не делал³.

И хотя выше Гинзбург говорит о «навсегда заработанной ценности», здесь, делая оговорку «еще так недавно», она намекает на исчезновение этой нормы.

Отмечая возникновение поведенческой нормы, сформированной военным контекстом и повлекшей за собой положительные результаты, Гинзбург предвидит близкое рождение нового сознания. Чаще всего она использует глагол «созреть». Так, в эссе от января 1944 г. она пишет:

Многое изменится, но не очевидным образом, изменится путем глубинных исторических сдвигов сознания, видимые результаты которых еще должны созреть. Люди еще не знают о том, что они изменились, вероятно, не сразу узнают, а пока что спешат найти потерянное место⁴.

¹ Гинзбург Л. Записные книжки. С.174–175 («Место в иерархии»).

² Там же. С. 184.

³ Там же. С. 185.

⁴ Гинзбург Л. «Итоги неудач». Опубликовано: Гинзбург Л. Проходящие характеры. Вариант этой записи под названием «Неудачник» см.: Гинзбург Л. Записные книжки. С. 152.

Надежде на формирование общей воли противоречит здесь наблюдение, что люди, по крайней мере в настоящий момент, рвутся занять место в заново создаваемой иерархии. В другом месте Гинзбург высказывает мысль, что перемены неизбежны, ибо некоторые — отдельные люди — уже пришли к пониманию «иллюзорности индивидуального существования и неизбывности социального зла»¹, тогда как остальные созрели, чтобы признать это:

Людам казалось, что они изменятся, им страстно хотелось измениться, но это не вышло <...> Но они созрели для изменения, и лучшие понимают необходимость перерождения человека².

Даже если Гинзбург была в числе тех «отдельных» людей, восприятие которых изменилось, она с гораздо большим нетерпением, чем остальные, ждала перемен. Возможно, именно отсутствием заметных результатов и неуверенностью объясняется неточность формулировок Гинзбург в том, что касается нового гражданского сознания. В наброске теоретической части будущих «Записок блокадного человека» она использует такие понятия, как «аскетическая гражданственность», «новое спартанство» наряду с «общей волей» и «гражданским сознанием».

Две первые формулы свидетельствуют о том, что она идеализирует если и не полную милитаризацию общества, то чувство социальной принадлежности и «общей воли», навязанной государством, которое может максимально регулировать поведение своих граждан — даже призывать их к самопожертвованию³. Вместе с тем аскетический минимализм подразумевает, что взамен граждане получают базовый набор благ, таких как водопровод, электричество, пища. Гинзбург пишет:

Остается новое гражданское сознание, новое спартанство, которое не отрицает неизбежность зла и несвободы. И прямо требует, чтобы единичный человек отдал себя в распоряжение общего. Оно ищет правильной диалектики социального зла, заменителей, наиболее благоприятных для данной исторической формации.

Идея, что нужно искать меньшее зло, лазейку в неизбежном социальном зле, неоднократно появляется в записях Гинзбург. Эта идея связана с отношением личности к могущественному государству⁴. В несправедливо организованном

¹ Гинзбург пишет: «И люди поняли. То есть поняли пока отдельные люди, а большинство внутренне созрело, чтобы понять — что эгоизм как мерило поведения подобен смерти, что гедонистический индивидуализм и гуманистический социализм несостоятельны; и это в силу двух настойчиво открывшихся человеку факторов — иллюзорности индивидуального существования и неизбывности социального зла» (Набросок «Теоретический раздел» к «Дню Оттера» // ОР РНБ. Ф. 1377).

² Из наброска к произведению, которое в дальнейшем превратилось в «День Оттера» и «Записки блокадного человека» (ОР РНБ. Ф. 1377).

³ Возможно, что Гинзбург сформулировала этот идеал, читая двух своих любимых писателей, Руссо и Герцена. Руссо пишет о спартанской модели в «Общественном договоре» и в «Рассуждении о науках и искусствах»; Герцен — в «Дилетантизме в науке».

⁴ О том, как Гинзбург описывает отношения личности и «Левиафана», см.: *Sandomirskaja I. Lidia Ginzburg's Social Critique: Prolegomena to Critical Discourse Analysis* // Lydia

обществе индивидууму остается вести себя нравственно, в соответствии с собственными принципами, унаследованными от той или иной социальной группы, — вести себя этически вне системы, которую нельзя усовершенствовать. И хотя Гинзбург утверждает, что эта тактическая этика социальна по сути, где «я» становится «другим» либо в любви, либо в искусстве, возможно, она скорее идеальна, нежели реальна, и носит более личный, чем универсальный и абстрактный, характер.

Гинзбург прекрасно осознавала слабость абстрактных построений, как и необходимость личного ценностного опыта для достижения реальных изменений. Именно по этой причине она критикует свою собственную идею гражданственности: гражданственность в качестве положительного содержания слишком абстрактна, рационалистична. Напротив того, сознание военного времени оказывается в большей степени основано на идеях национализма и патриотизма. «Родина — связь эмоциональная, не боящаяся иррациональных, логически неразложимых остатков»¹. Безусловно понимая, каким мощным козырем в руках советской пропаганды военного времени была мобилизующая народ любовь к родине, Гинзбург не находит ни на Западе, ни на Востоке ни одной современной модели гражданственности, на которую бы она возлагала подобные надежды. Думается, ее отношение к советскому государству оставалось негативным — структура, которую она называла левиафановой, упорно порождала рабов, не граждан.

Есть и другие примеры, помогающие разгадать, какие надежды на будущее были у Лидии Гинзбург. Так, когда она от имени своего alter ego Оттера «интервьюирует» А.О., тот говорит не о возникновении нового гражданского мышления и не о возрождении нравственных ценностей, а о прогнозируемой им профессиональной конкуренции и о стремлении людей к материальному и семейному комфорту. А.О. считает, что люди захотят поскорее забыть прошлое и начать жить заново, а не размышлять над уроками войны. Он ревниво предполагает, что те, кто был на фронте, будут считаться «человеческим материалом» высшей пробы, «самым ценным», «прошедшим отбор» (жуткие выражения, особенно по отношению ко Второй мировой войне — они однозначно выдают незнание реальных подробностей Холокоста). Оттер подмечает отсутствие интереса к темам «гражданского сознания, морального становления» и «накопления социальных ценностей» у своего собеседника². Мы видим, что Гинзбург прекрасно осведомлена о человеческой способности выдавать — в целях самооправдания — собственные желания за желания коллектива. Может, ее диагноз нового сознания — такая же проекция?

Вероятно, Гинзбург острее ощущала возможность перемен благодаря общению с другими писателями и учеными, такими как Григорий Макогоненко, Оль-

Ginzburg's Alternative Literary Identity / Van Buskirk and A. Zorin, ed. Peter Lang, forthcoming 2011. См. также: Зорин А. Лидия Гинзбург: опыт примирения с действительностью.

¹ Гинзбург Л. Из эссе «Поведение» // ОР РНБ. Ф. 1377. ЗК 1943–6. Опубликовано: Гинзбург Л. Проходящие характеры.

² Гинзбург Л. Тетрадь «Слово» // РНБ. Ф. 1377. Опубликовано: Гинзбург Л. Проходящие характеры.

га Берггольц, Вера Инбер и др., поскольку многие из них стремились, по ее собственному выражению, в своих произведениях «сказать немножко правды»¹.

И всё же даже до разгула ждановщины после постановления 1946 г. писатели, стремившиеся к большей свободе выражения, должны были преодолевать бюрократическую инерцию и ограничения, накладываемые новым националистическим и антисемитским витком государственной идеологии. Одним из оплотов старой системы был Союз писателей с его заседаниями и собраниями, подобными тому, которому посвящены записи Гинзбург от августа 1943 г. Сама ситуация, структура собрания и выступавшие на этом собрании представители профессионального сообщества поощряли ложь и рисовку, несмотря на позитивность общего социального настроения.

Общие соображения: они находятся в самом фальшивом из возможных положений. Как отдельные и частные люди они участвуют в процессе становления общей воли. Но как профессионалы они находятся в самом ложном положении. Они должны изображать несуществующее. Несмотря на становление общей воли, всё продолжает совершаться казенным и бюрократическим порядком. При всех ее недостатках, это выработанная форма, которую не момент сейчас пересматривать, да и неизвестно будет ли она пересматриваться в сколько-нибудь ближайшем будущем².

Писатели начинают менять свои взгляды, но должны по-прежнему соблюдать общие фальшивые правила: негодовать по поводу падения производительности в литературе, неспособности советских писателей создать новый эпос, а также предлагать повысить производительность литературного труда путем выполнения плана и сочетания правильной идеологической позиции с искренним желанием работать. Гинзбург отмечает, что подобный подход может дать результат «в качестве организованной бригады агитаторов в беллетристической форме, выполняющих задания», но дает сбой, когда речь заходит о желании творить: «Но они должны, и им хочется изображать искусство, а тут начинается полный сумбур»³.

В период между 1962–1983 гг. Гинзбург возвращается к блокадной теме и правит черновик «Дня Оттера» вкуче с теоретической частью «Записок блокадного человека». Она оставляет неизменной основную идею — исторические уроки войны, даже если они были восприняты не всем населением в целом, а лишь некоторыми современниками, включая саму Гинзбург. При этом она вносит изменения в части, касающиеся созревания нового гражданского сознания. Вместо ожидаемых грядущих сдвигов она пишет теперь о страстном стремлении к переменам, жажде «очищения во всеобщем», поиске нового пути, который в конце концов так и не был найден. В опубликованном варианте («Вокруг „Записок блокадного человека“») читаем:

¹ Гинзбург пишет: «писатели упорно стремятся сказать немножко правды, и проблема „смелости“ для них сейчас самая актуальная» (*Гинзбург Л.* Тетрадь «Слово» // ОР РНБ. Ф. 1377).

² Там же. (Часть «Слова» носит название «Заседание на исходе войны».)

³ Там же.

Дважды и трижды превращенному в крошево поколению открывалась неизбежность социального зла и призрачность единичного сознания. Распадались одновременно два великих заблуждения, казалось бы, противоположные, на самом деле имеющие общий источник в гуманизме XIX века.

Истребляемый, испытываемый катастрофами человек не в силах верить в красоту и абсолютную ценность единичной души. Гораздо естественнее ему испытывать отвращение к этой голой душе и горькую и тщетную жажду очищения во всеобщем, в некоей искомой системе связей — в религии? В экзистенциальном самопроектировании? В новой гражданственности?¹

«Система связей», которая породила бы некие взаимоотношения между гражданином и государством, так и не возникла, как не осуществился спартанский идеал, характеризующийся в данном историческом контексте гордостью людей за то, что они составная часть сильного коллектива. Общий смысл правки Гинзбург в том, чтобы преуменьшить роль своих первоначальных надежд, дистанцироваться от них. В еще одном дополнении к опубликованному варианту «Записок блокадного человека» Гинзбург — задним числом — пишет о победе страны в войне несколько иначе: «Под артиллерийским обстрелом нормально работали механизмы общественного зла, вместе с мужеством, вместе с терпением. Это истерзанная страна побеждала. И она же, сама того не зная, готовилась войти в новый разгул социального зла»².

Перелом, на который надеялась Гинзбург, не произошло, но ее блокадные записи сохраняют свою историческую ценность, ибо размышления Гинзбург о положительных изменениях по существу не затрагивают ее эмпирически ориентированный проект. В этих записях немного свидетельствует об оптимистическом взгляде на будущее, и это позволяет предположить, что ощущение поворотного момента истории, подъема новой гражданской сознательности пришло к Гинзбург извне (подобно положительной автоконцепции ленинградцев), а не явилось результатом ее индуктивной исследовательской работы. Позже, пересматривая эти записи в 1960–1980-е гг., она убрала теоретические пассажи и проявления оптимизма, однако не изменила — ни по существу, ни по форме — другие записи и наброски. Гинзбург не пыталась доказывать существова-

¹ Этот абзац соотносится с частью «Теоретического раздела», написанного в 1942–1943 гг.:

«Итак, только теперь понятен исторический смысл этого выморочного поколения и символика его судьбы. Первое испытание вызывает крайне гедонистически-индивидуалистическую реакцию; второе доказывает несостоятельность этой реакции. Совмещение обоих актов в пределах одного поколения важно потому, что человечество познает истины только на собственном опыте, никогда не на опыте других поколений. Для того, чтобы доказать поколению бесплодность гуманизма, его неспособность разрешать современные жизненные задачи и трагическую обреченность эгоизма — надо было сделать из поколения порядочное крошево; и история сделала из него крошево. Оно оказалось экспериментальным материалом истории. И история жгла и потрошила его и превращала в кровавую кашу. Конечные результаты были неизбежны, речь могла идти только об открытых или замаскированных формах» (ОР РНБ. Ф. 1377).

² Гинзбург Л. Записные книжки. С. 725.

ние того, чего не было. Она «документировала» личности и характеры, в надежде когда-нибудь, если позволят время и случай, собрать из них целостную картину исторического пласта. Гинзбург ощущала поворотный момент истории, и это побуждало ее к творческой активности. Созданная ею концепция личности изменилась, став более гибкой и более чувствительной к ситуации.

Главные «уроки», которые Гинзбург извлекла из блокады, были не столь оптимистичны, сколь плодотворны. Ощущение того, что 1940-е гг. подтвердили ее идеи 1930-х о характере, обществе и новых направлениях в искусстве и науке, приносило ей удовлетворение. Опыт и испытания Второй мировой войны позволили Гинзбург надеяться, что ее поколение (а может, и следующее) когда-нибудь признает неоспоримую правдивость двух ее главных убеждений: во-первых, отдельная, изолированная личность не имеет ни высокой, ни — тем более — трансцендентной ценности; во-вторых, социальное зло неискоренимо (оно лишь принимает различные формы, выступает под разными личинами). По мнению Гинзбург, две мировые войны и террор в период между ними должны были навсегда развенчать идеологию индивидуализма и «социалистического гуманизма». Этот коллективный опыт должен способствовать выявлению человеческой взаимосвязанности и социальных истоков ценности, и тогда ее концепция исторически и социально обусловленного «я» получит широкое распространение. Она давно догадывалась, что писатели XX столетия не могут свободно, как некогда Достоевский, выбирать конфликт и исследовать его; они вынуждены заниматься дилеммами, навязанными извне. Литература должна изучать, как история и обстоятельства ограничивают право человека на роль в обществе. Во время блокады, по мере того как испытания голодом, холодом и бомбежками становились всё более ощутимыми и всеобщими, этот анализ достиг максимальной силы. На протяжении десятилетий сталинского режима, войны и позднего социализма Гинзбург на примере своем и своих современников непрерывно изучала последствия исторического и социального давления. Она наблюдала за тем, как люди в соответствии со своими ценностями, структурой личности и запасом «жизненного напора» и жизненными ситуациями приспосабливаются к испытаниям, которым их подвергает борьба за выживание.

Перевод с английского Л. Семеновой